

Анна
Пивковская



АХМАТОВА,
ТО ЕСТЬ
РОССИЯ

Анна Пивковская Ахматова, то есть Россия

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=49867930

Ахматова, то есть Россия:

ISBN 978-5-907189-91-1

Аннотация

Анна Пивковская (р. 1963) – польский поэт, эссеист и критик, изучала польскую филологию в Варшавском университете. Опубликовала 9 книг стихотворений, в частности отмеченные поэтическими премиями сборники «После» (Po, 2002; Премия Фонда Костельских), «Красильщица» (Farbiarka, 2009; Литературная премия Варшавы), «Зеркалка» (Lustrzanka, 2012). Автор двух книг эссе об Анне Ахматовой «Ахматова, то есть женщина» (2003) и «Ахматова, то есть Россия» (2015), созданных по впечатлениям поездок автора в Россию, а также детской повести о поэзии «Францишка» (2014), награжденных литературными премиями Варшавы. Последняя награжденная этой премией книга Пивковской «Проклятая. Поэзия и любовь Марины Цветаевой» (Wykłeta. Poezja i miłość Mariny Swietajewej, 2017) – также связана с Россией. Предлагаемая читателю книга Пивковской об Анне Ахматовой – это книга о поэте, написанная другим поэтом. Содержащее около 30 эссе произведение представляет собой своеобразный путеводитель по жизни и творчеству поэтессы, судьба которой отождествляется с

трагической судьбой России XX века. Книга предназначена для широкого круга читателей, любящих поэзию и любящих Россию.

Содержание

Черный лебедь	6
Окно, прорубленное в Европу	10
Красная шаль Прасковьи	15
Великолепная, харизматичная, измученная	23
Антигона, любимица софокла	34
Девушка с разбитым кувшином	42
Поэтесса театрального жеста	46
Царскосельское детство	54
Ожерелья должны быть дикарскими	64
Кипарисовая шкатулка	74
Ритмы и звуки	83
Конец ознакомительного фрагмента.	85

Анна Пивковская

Ахматова, то есть Россия

Благодарю Адама Поморского, главного моего гида по жизни и творчеству Анны Ахматовой, и Томаша Любенянского – моего гида по России.

Анна Пивковская

«Что же касается мемуаров вообще, я предупреждаю читателя, двадцать процентов мемуаров так или иначе фальшивки. Самовольное введение прямой речи следует признать деянием уголовно наказуемым, потому что оно из мемуаров с легкостью перекочевывает в литературоведческие работы и биографии. Непрерывность тоже обман. Человеческая память устроена так, что она, как прожектор, освещает отдельные моменты, оставляя вокруг неодолимый мрак. При великолепной памяти можно и должно что – то забывать...»

Анна Ахматова

Черный лебедь

*... Себя чуть помню – я себе казалась
Событием невероятной силы
Иль чьим –то сном, иль чьим –то отраженьем
(...)*

Анна Ахматова «Энума Элиш»

Какой она была? Тринадцатилетней девочкой, представляющей себя черным лебедем на царскосельском пруду. Черных лебедей привезли из Италии при царице Екатерине II, и в детские годы Анны Горенко, будущей Анны Ахматовой, они были явлением необычайным и редким. Все восхищались черными лебедями не только из – за их красоты. Они были также и диковинкой. Чужеродные и непохожие на белых лебедей, хорошо известных и легко приручаемых. А в нашем тринадцатилетнем черном лебеде оставалось еще многое от гадкого утенка, к тому же писавшего стихи. Стихи позволяли ей приручать мир и давали ощущение своей исключительности. Итак, Аня Горенко чувствовала себя поэссой чуть ли не со дня своего рождения. Особенная, во все непростая красота выделяла ее среди ровесниц. О девочке с таким типом красоты можно было справедливо сказать, что она в равной степени и красива, и некрасива. Одно дело быть неземным созданием с белокурыми локонами, как Оль-

га Глебова – Судейкина, ее будущая подруга, а другое – высоким черноволосым подростком со странным горбатым носом и челкой. Впрочем, челку она придумала позднее, по образцу наимоднейших парижских причесок начала XX века. Придумала она также и себя и выросла красавицей. Иосиф Бродский скажет, что она принадлежала к числу поэтов, которых в нашем мире попросту не встретишь, они являются в него готовыми, полностью сформированными. Она тоже была готова. А также и история была готова вписать ее в свой бег – в «Бег времени», как Ахматова назовет свою последнюю, изданную в 1965 году книгу стихотворений...

Отец Ани еще в ее детстве, прежде чем та начала писать стихи, по какому – то поводу назвал ее из чувства противоречия «декадентской поэтессой». Ко всему прочему она во сне проявляла лунатизм и считала себя дочерью месяца. Но в шестнадцать лет она уже писала стихи с полным сознанием того, что она – поэтесса. Позднее поэзия Анны Ахматовой станет, по ее предсказанию, чем – то вроде особенных проекторов, вырывающих из непроницаемой тьмы фрагменты ее жизни. И какие фрагменты! Детство в Царском Селе, легендарное здание Лицея, где учился молодой Пушкин, до-революционная петербургская молодость в кабаре «Бродячая собака» и первая литературная слава. Дождливый Париж с Амадео Модильяни, супружество с Николаем Гумилевым, дружба с Осипом Мандельштамом, весенние, мокрые кисти сирени, поцелуи и пахнущие кожей дрожки. Всю эту атмо-

сферу можно обнаружить в ее первых стихах, вошедших в сборники «Вечер» и «Четки». Но уже очень рано в эти лирические стихи вторглась история. В стихах шестнадцатилетней Анны Горенко уже слышны отзвуки революции 1905 года и потрясение, вызванное гибелью русского флота под Цусимой. Потом взрыв Первой мировой войны, революция, бездомность и голод во время гражданской войны, а в конце слова из «Элегии»: «Меня, как реку, / суровая эпоха повернула».

После революции ее жизнь фактически распалась на две части. Более того, временами у Анны возникало чувство, будто она жила не своей жизнью, а ту настоящую, принадлежащую ей жизнь, у нее незаконно отобрали. Она часто прибегает в своих стихах к слову «двойник». В 1945 году в Ленинграде она напишет в «Пятой северной элегии»:

Мне ведомы начала и концы,
И жизнь после конца, и что – то,
О чем теперь не надо вспоминать.
И женщина какая – то мое
Единственное место заняла,

Мое законнейшее имя носит,
Оставивши мне кличку, из которой
Я сделала, пожалуй, все, что можно.
Я не в свою, увы, могилу лягу...

Позднее ее поэтической миссией станет описание жизни послереволюционной России и оплакивание жертв сталинского террора. Ее жизнь и стихи неразрывно связаны с Петербургом – Петроградом – Ленинградом, какие бы имена не носил этот город. В своей поэзии она умела передавать, а, может быть, и создавать мистику этого, как сказал Бродский, «переименованного города», описывать его химерическую красоту и печальный гоголевский страх. «Медный всадник» Пушкина и «Шинель» Гоголя – это как бы две стороны одной и той же медали. С нее смотрят два лица человека, побежденного этим городом. И еще – лицо Раскольникова, крадущегося к дому старухи – процентщицы, лицо Анны Карениной на скачках, когда прекрасная Фру – Фру ломает себе хребет, и Татьяны, по – королевски удаляющей от себя Онегина пушкинской фразой. А также, как в стихотворении Анненского «Петербург»: «пустыни немых площадей, / где казнили людей до рассвета».

Окно, прорубленное в Европу

*Над Невой темноводной,
Под улыбкою холодной
Императора Петра.*

Анна Ахматова «СТИХИ О ПЕТЕРБУРГЕ»

Необычайна судьба Петербурга, города Ахматовой. Основанный в 1703 году, в 1712 он становится столицей Империи. В XX веке он пережил три переименования, три революции, Большой Террор и 900 – дневную блокаду. Санкт – Петербург, возведенный на болотах тираном и безумным визионером Петром I, названным Великим, поглотил во время своего строительства тысячи жертв. Их кости легли в фундамент этого самого европейского города России, где Нева впадает в Финский залив, а в июне солнце почти одновременно скрывается за горизонт и восходит снова. Петр приказал: «быть здесь городу», и город возник. Его решение воспел Александр Пушкин, гениальный поэт, цензором которого был сам царь Николай I.

Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложен
Назло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено

В Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при море...

«Окно в Европу» фактически было, как писал Пушкин, «прорублено». Город, возникший на болотах и на костях его строителей, вопреки логике архитектуры, только благодаря необычайной воле и капризу своего властителя. Очень скоро Петербург сделался по – настоящему европейской столицей и оброс легендами. Европейской, но все –таки имперской, где улицы слишком широки, а тротуары слишком высоки для человека. Простым людям пришлось жить в городе, построенном для героев, и умирать в нем иногда героической, а иногда и унижительной смертью.

Петр Великий следовал римской традиции, присвоив себе титул императора, а «Петрополь» сравнивали с древним Римом. Жители этого трижды переименованного города продолжают называть его попросту Питером. В мифе этого города выросла и жила Анна Ахматова, «златоустая Анна всея Руси», как охотно называли ее современники. В значительной мере она сама помогала создавать этот миф. Великорусский ген, зазвучавший восторженным тоном в даваемых ей именах и прозвищах, наверняка был ей приятен. Великая поэтесса, неповторимая Анна, которая даже в тюремных очередях Ленинграда, где стояли измученные российские женщины, или в очереди за селедкой, которую заворачивали в газету, чувствовала себя «Анной всея Руси», «Королевой –

бродягой». Наверняка ей не была чужда раздвоенность, характерная для всей тогдашней русской интеллигенции, которая с такой силой проявилась во время блокады Ленинграда. Немецкое вторжение могло привести к упадку ненавистного режима. Однако ценой была бы гибель либо, по крайней мере, унижение России. Поэтому Анна Ахматова стояла в противогазе на крыше своего Фонтанного дома, в дежурстве, борясь с зажигательными бомбами, в буквальном смысле слова с разбитым сердцем, еще перед первым инфарктом, из – за сидящего в советских лагерях сына. И спустя лишь три года после смерти в лагере Осипа Мандельштама, друга и поэта, которого она еще не успела оплакать Стояла, ибо любила Россию, свою великую, великолепную, а временами и ненавистную родину. И любила этот город, где Петропавловская крепость, в бастионах которой содержались и подвергались пыткам поколения политических узников, возвышается над барочными монастырями и дворцами, спроектированными выдающимся архитектором Франческо Бартоломео Растрелли – младшим. Он был любимцем императрицы Елизаветы, дочери Петра I, открытой для европейской моды. Открытой до такой степени, что, ставши императрицей, она уже в 1741 году запретила применение пыток в уголовном следствии и отменила смертную казнь. Запретила также жителям Москвы держать домашних и дворцовых медведей, сидящих на цепи и рычащих на прохожих.....

Любимый город Ахматовой строился как произведение

искусства, он был воплощением великого плана Петра, сотворенного из воды, воздуха и камня. Возможно, Анна Ахматова сама была особым Божиим творением, созданным из плоти и духа. Маркиз де Кюстин писал в воспоминаниях, что Петр Великий и его наследники относились к своей столице как к какому – то театру. В «Записках из подполья» Достоевский назвал Петербург «самым отвлеченным и умышленным городом на всем земном шаре», а Гоголя – иностранцем на собственной родине. Иосиф Бродский по – другому прокомментировал осуществившуюся мечту Петра Великого: «Город стал пристанью, причем не только в физическом значении. Также и метафизически. Нет другого места в России, где воображение отрывалось с такой легкостью от действительности: русская литература родилась вместе с появлением Петербурга». Ахматова была очарована архитектурой Петербурга, прекрасно ее знала и написала несколько очерков на эту тему. Петербург стал также героем и лирическим адресатом ее стихотворений, сценой для ее собственной мифологии: «А не ставший моей могилой, / Ты, гранитный, крошечный, милый, / Побледнел, помертвел, затих» («Моему городу»). В то же время он был для нее городом проклятым, что нашло поэтическое выражение в «Поэме без героя»:

И царицей Авдотьей заклятый,
Достоевский и бесноватый,
Город в свой уходил туман.

Уже царица Евдокия Лопухина, первая жена Петра Великого, прокляла этот город, когда, брошенная Петром, умирала в одиночестве в Новодевичьем монастыре в Москве. Ахматова в своей жизни тоже неоднократно чувствовала себя проклятой.

Красная шаль Прасковьи

*Что бормочешь ты, полночь наша?
Всё равно умерла Параша,
Молодая хозяйка дворца.*

Анна Ахматова «ПОЭМА БЕЗ ГЕРОЯ»

Более тридцати лет домом Ахматовой в Петербурге был знаменитый Фонтанный дом. Дворец принадлежал одному из знаменитейших родов России, покрытому воинской славой, графам Шереметевым. Легендарный Фонтанный дом, то есть дом на Фонтанке, был построен с европейским размахом, как и весь Петербург. Первый дворец с таким наименованием, построенный фельдмаршалом Борисом Шереметевым, награжденным Петром I графским титулом за заслуги в Северной войне, был деревянным. В сороковые годы XVIII века сын Бориса, насмотревшийся на другие архитектурные чудеса своего времени: Летний и Зимний дворцы, расширил дом, придав ему форму нынешнего строения. Все эти шедевры барокко перенесли на российскую почву итальянцы и французы, создав вначале в воображении, а позднее – на зыбком болотистом грунте вырастающий из тумана Петербург. Фонтанный дом создавался с огромным размахом, достойным своего города, города изменяющихся форм

и красок. Строил его Савва Чевакинский – ученик Растрелли, архитектор его школы. Классический фасад был украшен львиными масками и иными символами, прославляющими воинскую славу рода Шереметевых. Львиные маски венчали также железные дворцовые решетки и ворота. Позади дворца простирались сады. Заболевшая туберкулезом Ахматова будет впоследствии в этих садах страдать от холодного воздуха и сырости, которой тянуло от Невы и петербургских каналов. В дворцовых покоях очередные владельцы собирали коллекцию европейской живописи и скульптуры Пол был выложен дубовым паркетом, а плафоны украшены росписью. Из высоких окон, от пола до потолка, открывался вид на реку, блестели золотые украшения и канделябры.

Ахматова, провела в этом доме почти всю свою жизнь. Она утверждала, что дубы в его саду были старше самой столицы. Зеркальный Белый зал, который при ее жизни отпугивал холодом, плесенью, трещинами в стенах и на потолке, стал местом действия ее стихов стихов, в особенности первой части «Поэмы без героя», необычайной петербургской повести.

Она поселилась в нем в 1918 году со вторым мужем, выдающимся ассириологом Владимиром Шилейко. Было ей тогда двадцать девять лет.

Дореволюционная пышность дворца принадлежала уже тогда прошлому: его последний владелец, граф Сергей, внук легендарной Прасковьи и Николая Петровича Шереметевых,

устроил в нем музей рода Шереметевых. Во время Октябрьской революции, чтобы защитить дом от полного уничтожения, он передал его государству, подписав договор с советским правительством. Фонтанный дом уцелел: в нем разместился государственный музей. Бывшим служащим было даже разрешено в нем остаться, а Шилейко, любимый учитель графских внуков, в соответствии с этим договором сохранил свое жилище в северном крыле дворца. Ахматова говорила о себе, что она смотритель Фонтанного дома, изучала его историю и на самом деле его полюбила. После развода с Шилейко она на некоторое время выехала из дворца. В 1926 году поселилась там снова с очередным спутником жизни, будущим своим мужем Николаем Пуниным. На Фонтанке она оставалась до 1952 года. Она ощущала присутствие в нем русских поэтов, связанных с этим местом: Тютчева – друга Сергея Шереметева, Вяземского, который тут бывал, и прежде всего Пушкина, дружившего с сыном Прасковьи Дмитрием Шереметевым – отцом последнего владельца дома. Трагическая история Прасковьи, нежеланной жительницы и печальной заложницы Фонтанного дома, была особенно близка Ахматовой.

Прасковья родилась в семье крепостных крестьян в имении Шереметевых в Юхоцке Ярославской губернии. Отец Прасковьи в середине 70-х годов XVIII века стал главным кузнецом в Кусково, дворцовой резиденции Шереметевых под Москвой. У него был собственный дом и земельный на-

дел. Младших сыновей он послал в обучение к портному, а старший, наделенный талантом, получил музыкальное образование в оркестре Шереметевых. Также и прекрасную Прасковью, дочь кузнеца, обладавшую исключительным голосом граф Петр Шереметев повелел воспитать оперной певицей. Наилучшие преподаватели, приглашенные из Европы, должны были обучать ее пению, танцам и актерскому мастерству, а также языкам: итальянскому, французскому и немецкому. Способная и очаровательная девушка легко овладела ими в разговорном и письменном варианте, а своим голосом, исключительно чистым сопрано, и актерским талантом в значительной мере помогла опере Шереметевых прославиться в последних двух декадах XVIII века.

Более того, между сыном графа Николаем Шереметевым и Прасковьей вспыхнула любовь. Это чувство было как в трагических операх: влюбленных разделяла социальная пропасть. Николай Шереметев был романтиком и обладал художественным вкусом. Он любил музыку так же, как и обладавшая талантом Прасковья. Он влюбился до потери чувств и к тому же искренне. До этого молодой человек охотно пользовался своим «правом» на крепостных девушек и, случалось, что днем, когда те работали, обходил их избы и бросал свой платок в окошко одной из них. Ночью он посещал отмеченную платком девушку, а утром просил ее вернуть платок. Но с Прасковьей все было иначе. В 1809 году он писал: «Я питал к ней чувствования самые нежные, самые страстные...

наблюдал я украшенный добродетелью разум, искренность, человеколюбие, постоянство, верность. Сии качества... заставили меня попать светское предубеждение в рассуждении знатности рода и избрать ее моею супругою... Постыдную любовь изгнала из сердца любовь постоянная, чистосердечная, нежная, коею навеки я обязан покойной моей супруге...»

Тайная связь Прасковьи с молодым графом ставила ее в нелегкое положение, поэтому Шереметев построил дом вблизи родового поместья, в котором она поселилась. Ей разрешено было выходить только в церковь и в театр. В апреле 1797 года по случаю визита недавно коронованного императора Павла I в останкинский дворец была поставлена опера «Самнитские свадьбы» французского композитора Андре Гретри. Прасковья восхитила двор исполнением роли Элианы, а сюжет оперы напоминал ее собственную историю. В племени самнитов существовало правило, запрещавшее девушкам объясняться в своих чувствах к мужчине. Элиана нарушает это правило и признается в своих чувствах к военачальнику Парменону, который не хочет и не может на ней жениться. Эта роль была последней в ее карьере. Заболевшую туберкулезом Прасковью влюбленный граф перевозит в Фонтанный дом, где она жила до самой смерти и где ее дух позднее посещал поселившуюся там поэтессу. В 1801 году Николай Шереметев дал Прасковье вольную, а позже обвенчался с ней в маленькой церкви в деревне Поварская

под Москвой. Свадьба была окружена глубокой тайной. Считалось, что, женившись на крестьянке, граф, представитель одного из самых видных родов русской аристократии, предал свое сообщество. В довершение он еще отказал царице Екатерине II, сватавшей за него свою внучку, великую княгиню Александру Павловну. Единственным, кто поддерживал и одобрял связь графа, был царь Павел I. Несмотря на это, великолепные салоны Фонтанного дома стали пустеть, а Прасковью с графом посещали лишь ближайшие друзья и артисты, связанные с оперой Шереметевых.

Иногда появлялся и сам царь, которого с Николаем Шереметевым связывала большая дружба. Они были знакомы с детства, и граф Николай был одним из немногих, у кого властный и склонный к неконтролируемым взрывам гнева Павел любил бывать. Восхищенный красотой, талантом и характером Прасковьи, он подарил ей собственный перстень с бриллиантом. Этот перстень изображен на ее портрете кисти Николая Аргунова. В 1802 году Прасковья родила сына Дмитрия и через три недели, измученная туберкулезом, скончалась. Согласно православному обычаю открытый гроб был выставлен в Фонтанном доме, чтобы друзья могли попрощаться с умершей. Однако почти никто не пришел. Не было никого из дворни и семьи Шереметевых. Гроб был перевезен в Александро – Невскую лавру, где Прасковья упокоилась рядом со своим тестем. После ее смерти граф Николай посвятил себя воспитанию сына Дмитрия, а также

благотворительной деятельности. Он построил больницу для самых бедных и богадельню. Особенно его сердце трогала судьба крепостных, многим из которых он даровал свободу.

Ахматова очень любила волнующий портрет Прасковьи кисти Николая Аргунова (1802), на котором Прасковья, укрытая красной шалью, с миниатюрным портретом мужа на груди и перстнем на пальце смотрит прямо перед собой с грустью, но и не без вызывающей гордости. Портрет черно-волосой Ахматовой, также в красной шали, написала в 30 – е годы XX века русская художница – экспрессионистка Татьяна Глебова, ученица знаменитого художника авангардиста Павла Филонова, умершего от голода во время блокады.

Тень Прасковьи промелькнет среди других теней в «Поэме без героя». Эту поэму Ахматова увидит в своем воображении и первые строфы запишет в одинокую новогоднюю ночь 1940 года в своей комнате в Фонтанном доме.

Анна Ахматова всю свою жизнь верила в пророческую силу поэзии. Уже в 1915 году она заклинала («Молитва»):

Дай мне горькие годы недуга,
Задыханья, бессонницу, жар,
Отыми и ребенка, и друга,
И таинственный песенный дар —
Так молюсь за Твоей литургией
После стольких томительных дней,
Чтобы туча над темной Россией
Стала облаком в славе лучей.

Марина Цветаева, прочитав это стихотворение, написала Ахматовой: «как Вы могли! Разве Вы не знаете, что в поэзии все сбывается?»

Ахматова хорошо знала, что да, «сбывается». Может быть, она даже подсознательно хотела, чтобы сбылось. Все – таки среди всех ее сердечных привязанностей поэзия и Россия были для нее самой большой любовью. И как всегда бывает с самой большой любовью – также и самой трудной.

Великолепная, харизматичная, измученная

*Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл, –
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.*

Анна Ахматова (1961)

Петербург. Дом Ларисы Георгиевны Кондратьевой на углу улицы Некрасова и Греческого проспекта. Лариса, ровесница и, вероятно, первая учительница английского языка Иосифа Бродского, показывает мне дом, видный из окон кухни. Говорит, что там собирался весь Серебряный век русской поэзии. Вероятно, в нем жил Николай Гумилев уже после развода с Анной Ахматовой. Но все продолжали в нем собираться, дружили, поддерживали друг друга. «Все» это кто? В кухне Ларисы, на высоком четвертом этаже, мы пьем горячий чай и называем имена, как бы призывая отсутствующих: Анна Ахматова, Николай Пунин, Осип Мандельштам, Михаил Лозинский, Артур Лурье, Ольга Глебова – Судейкина. Я пытаюсь понять, сколько в рассказе моей хозяйки, как говорила скептическая Ахматова, «благовонной легенды», а сколько правды. Сколько же в Петербурге таких домов,

окруженных легендой, где якобы «все собирались», а теперь лишь витают духи прошлого.

По кухне бродит кот, по улице Некрасова проезжает трамвай, я выглядываю в окно. Нынешнее здание разваливается, и трудно вообразить себе следы давнишней красоты. На балконах, украшенных барельефами, растут сорняки и рахитичные деревья, окна местами выбиты, сыплется штукатурка, а в неотопливаемых помещениях, как утверждает Лариса, находят пристанище азербайджанцы, торгующие наркотиками.

Мимо нас пронесся XX век. Тот страшный век, о котором Ахматова написала, что на самом деле он начался лишь в 1914 году. До 1913 года, в котором начинается действие ее знаменитой «Поэмы без героя», был еще предыдущий, XIX век. Или скорее предыстория XX – го, так же, как предысторией своей жизни Ахматова назвала встречу в Париже с Модильяни в 1911 году.

От Петербурга до Сицилии, куда в 1964 году поэтесса ездила получать престижную литературную премию «Этна – Таормина», около трех тысяч километров. Из кухни Ларисы даже теперь, в эпоху самолетов и виртуальных путешествий, это кажется очень далеким. Когда Ахматова отправилась в это путешествие, ей было 75 лет, а за спиной была жизнь, которой бы хватило не на одну биографию. Я пытаюсь представить, какой она была.

В моем распоряжении ее стихи, записки, письма, воспоминания людей, которые близко ее знали, написанные о ней

книги, ее портреты, рисунки и несколько десятков не очень разборчивых фотографий. В них нет ее жестов, голоса, смеха, и прежде всего – контекста, в котором ее задержали «на мгновение». На что или на кого она глядела в тот момент, с кем разговаривала, о ком и о чем думала? Ее стихи говорят больше, чем фотографии. Ахматова говорила, что ее собственная поэзия бывала для нее и счастьем, и горечью. Но никогда не приносила утешения...

На одной из последних фотографий она выглядит высокой, величественной, с серебряными гладко зачесанными волосами и с мудрым совьим взглядом.

«И кто бы поверил, что я задумана так надолго», – это фраза из книги, которую она так и не закончила и которая должна была стать частным дневником своего времени, чем-то вроде «Письма» Бориса Пастернака или «Шума времени» Осипа Мандельштама. Под конец жизни она ненадолго уехала из России, чтобы получить литературные награды, собрать дань уважения и принять почести. Из окон поезда, едущего из Рима в Таормину, ей было видно, как волны Тирренского моря разбиваются о скалы. Ехала поездом, так как не выносила самолетов. Этот морской вид после постоянно меняющегося любимого Петербурга должен был ей показаться чем – то действительно постоянным, почти вечным. «Много ли зим перед нами, а может, зимою последней бросается море Тиррен на упрямые скалы?» – спрашивал за 2000 лет до этого Гораций. Ахматова хорошо знала в ори-

гинале Горация, Петрарку и всю европейскую литературу. В своей поэзии она задавала те же вопросы, что и они, и всегда говорила о Горации, Данте или Петрарке как о друзьях, которые никогда не подведут, не бросят, не предадут, не будут замучены системой, ибо, к счастью для нее и для них, они уже переплыли на другой берег Леты.

Тогда, едучи на Сицилию, Ахматова была в Италии уже не впервые. Как и в молодости, она еще раз посетила Рим, а год спустя – Англию и Париж. Из Рима послала открытку с видом Испанской лестницы молодому поэту, своему секретарю Анатолию Найману. Написала ему: «Вот он каков – этот Рим. Такой и даже лучше. Совсем тепло. Подъезжали сквозь ослепительную розово – алую осень, а за Минском плясали метели...»

Спутницей Анны была Ирина Пунина, дочь ее третьего мужа Николая Пунина и Анны Аренс. 10 декабря 1964 года они добрались до Сицилии; после долгого и утомительного путешествия поездом, а затем кораблем, остановились в старом монастыре. Во дворе цвели разнообразные цветы и апельсиновые деревья, пели птицы. 13 декабря поэтесса получила литературную премию, присужденную ей Европейским Сообществом писателей (*Comunità Europea degli Scrittori*).

Перед выездом в Италию она ждала несколько месяцев выдачи паспорта и других проездных документов. Нервничала, а, возможно, только удивлялась: «Они что, думают, что

я не вернусь? Что я для того здесь осталась, когда все уезжали, для того прожила на этой земле всю – и такую – жизнь, чтобы сейчас все менять!»

Торжество происходило в Катании. Ахматова читала свои стихи характерным для себя способом: глубоким голосом, почти без интонаций. Великолепная, харизматичная. И измученная.

Потом Арсений Тарковский и Александр Твардовский читали посвященные ей стихи, а затем гостям показали последний фильм Пазолини «Евангелие от святого Матфея». Ахматова ценила Пазолини и любила кино. Особенно близок ей был Чарли Чаплин, она ценила его чувство юмора. В отеле «Эксельсиор», где они остановились, она до поздней ночи угощала гостей привезенными из России икрой, черным хлебом и водкой. А пить, говорят, она умела, как мало кто. Принимала также поздравления и выражения благодарности свободного мира – депеши и телефоны. Любопытно, что она думала, читая поздравления Сартра и Симоны де Бовуар, для которых еще недавно синонимом «деятельного интеллектуала» был интеллигент, безоговорочно поддерживающий коммунизм в его советском издании.

В 1965 году она снова выехала за границу. На этот раз ее сопровождала внучка Николая Пунина, любимица Ахматовой Анна Каминская. 4 июня в Оксфорде состоялась церемония присвоения поэтессе титула почетного доктора Оксфордского университета. Присуждению этого титула поспо-

собствовал сэр Исайя Берлин, выдающийся философ, дипломат, историк развития идей. Ахматова по – своему радовалась этой встрече, состоявшейся много лет спустя с мифическим Гостем из Будущего, одним из протагонистов «Поэмы без героя». Это петербургское знакомство 1945 года она, проявив фантазию, с полной осознанностью мифологизировала в стихах из циклов «Cinq» («Пять») и «Шиповник цветет». Мифологизация жизни, перенесение ее из исторического пространства в пространство вечное – ведь миф это вечность, вторгающаяся во время – была одним из поэтических методов Ахматовой. Возможно, была даже чем – то бóльшим, попыткой осмысления своей жизни в мифических категориях для того, чтобы придать им смысл. Миф упорядочивает непонятные события в жизни индивидуума, поскольку, как писал философ Лешек Колаковский о феномене мифа, «человечность всегда предшествует истории». Ахматова бывала в своих стихах Клеопатрой, Медеей, Саломеей, Дидоной, но прежде всего – Антигоной. Однако оксфордская встреча Дидоны и Энея – так она изобразила себя и Исайю Берлина в стихах – спустя годы оказалось совершенно лишней силой или хотя бы очарования мифа.

3 июня она прибыла в Лондон, конечно же, поездом. Ее фотографии и статьи о ней появились почти во всех лондонских газетах. Принимая звание почетного доктора, она выглядела, как привыкла, по – королевски. Монументальная, изысканная, в черном платье под пурпурной тогой. Накану-

не, после официального приема в Новом колледже, Исайя Берлин вместе с женой пригласили Ахматову на ужин. Жена сэра Исайи Берлина Алина была наполовину русской, наполовину француженкой и происходила из богатой еврейской семьи. Ее отец, русский банкир барон Пьер де Гунцбург, после революции эмигрировал в Париж. Будущая леди Берлин воспитывалась в великолепной резиденции, принадлежащей семье, на авеню д'Иена в XVI квартале Парижа. Она не знала русского языка и, возможно, также из – за этого, а не только из – за легендарного высокомерия Ахматовой, во время этой встречи между ними так и не возникло понимания. Алина так вспоминала эту встречу: «Она вообще не разговаривала со мной, нисколько. И была такая властная, а я очень робела (...)». На ужине Ахматова была одета в черное платье, а плечи прикрыла кружевной шалью. Той самой, в которой ее многократно фотографировали в последние годы жизни. Она уже не напоминала «гибкой гитаны», о которой писал Мандельштам. Однако от нее исходило величие, хотя она приехала из своей деревянной будки в Комарово (где нужно было самой носить воду из колодца) прямо в грегорианский дворец Берлинов с двадцатью четырьмя окнами на парадном фасаде. Огромный салон, где они сидели, был украшен хрустальными абажурами и картинами, а в столовой имелся овальный эркер с тремя окнами, выходящими в сад.

Ахматова была очень серьезна и разговаривала, вероятно, только с сэром Берлиным, игнорируя его жену. Среди про-

чих она вспомнила об Иосифе Бродском и его поэтическом гении. Спустя годы Берлин вместе с поэтами Уистеном Хью Оденем и Чеславом Милошем поможет Бродскому сделать первые шаги на чужбине.

Рышард Пшибыльский в своем великолепном эссе «Гость из Мира, судьба и Принцесса» строго и пронизательно порицает Исаяю Берлина за его высказывания об Ахматовой. Особенно неприятно, может быть, даже покровительственно прозвучало интервью Берлина о его встрече с Ахматовой, данное «Газете выборчей» в 1995 году: «Мы провели вместе с ней неделю, но она была сердита на меня. По ее мнению, между нами существовал некий мистический союз, союз духовный, и мы должны были одинаково переживать это, хотя и порознь. А я позволил себе совершить вульгарный поступок – я женился! Когда я пригласил Ахматову на обед, она заморозила меня насквозь. Разговаривала со мной мило, но я знаю, что так меня и не простила. Она была легендой России, а я ее бросил». Рышард Пшибыльский отвечает на эту тираду такой фразой: «Ну, конечно же, простила, просто он, очевидно, не понял, что простила». И далее подробно анализирует эту встречу, очарование и недоразумение, ставшее уделом «Гостя из мира» и «Принцессы».

К встрече Берлина с Ахматовой в России в 1945 году и возникшими из – за нее последствиями для поэтессы я еще вернусь – последствиями как жизненными, так и поэтическими. Насколько первые были непредсказуемыми и страш-

ными, настолько вторые расцвели циклом прекрасных стихов.

Тогда, в Англии, у Ахматовой состоялись еще две встречи с прошлым. Она встретилась с Борисом Анрепом, художником и создателем знаменитых мозаик, эмигрировавшим в 1917 году из России, которому посвящен ряд ее любовных стихотворений. А также – с княгиней Саломеей Гальперн, урожденной Андрониковой, «соломинкой», увековеченной Мандельштамом в книге стихов «Tristia». На обратном пути Ахматова провела три дня в Париже. Остановилась в отеле «Наполеон» на авеню Фридланд. Эти три дня ее сопровождал, точно еще один дух из прошлого, Георгий Адамович, поэт и критик, проживший в эмиграции много лет.

В первый день они ездили по шумному летнему Парижу, и Ахматова посещала места, знакомые ей с молодости. В том числе – дом на улице Бонапарте между Сеной и бульваром Сен –Жермен, где, глядя на окна третьего этажа, она вспоминала о Модильяни. Прошло более полувека с момента, когда никому неизвестный художник сделал несколько десятков набросков и рисунков молодой, стройной и тоже неизвестной русской поэтессы.

На другой день Ахматова и Адамович гуляли по Булонскому лесу, а на следующий – долго разговаривали на террасе ресторана «Ля Куполь» на Монпарнасе, который перед войной был местом длительных ночных встреч парижской богемы и русских эмигрантов. Вокруг шумел город, который

в большей степени напоминал Париж начала XX века, нежели современный Ленинград походил на дореволюционный Петербург – место ее утраченной молодости.

Напротив «Ля Куполь» от бульвара отходили маленькие, узкие улочки: Вавен, Гран Шомьер, де Шеврёз. Здесь в начале века, в старых тесных домах, часто на чердаке, подобно Модильяни, проживал Болеслав Лесьмян. В течение года он и Модильяни даже жили в одном доме. Может быть, он встречал ее на лестнице, когда та вбегала на самый верх в мастерскую Модильяни? Много ли осталось от той молодой женщины во властной, седой и уже очень измученной Ахматовой, сидящей на террасе ресторана?

Адамович, русский эмигрант, спросил тогда поэтессу, почему она упорно называет Петербург Ленинградом, если все пользуются старым названием или говорят попросту «Питер»? Она поглядела на него холодно и коротко ответила: «Говорю "Ленинград", потому что он так теперь называется. Мой город». Адамович вспоминает эти слова, сказанные в последнее лето жизни Ахматовой, ибо это была глубокая правда, санкционированная и оплаченная всей ее жизнью. Она так и не решилась на эмиграцию. Россия осталась ее тяжело пережитой родиной, а Петербург, независимо от названия, ее любимым городом. Эта правда содержалась всего лишь в двух четверостишиях стихотворения, написанного в Комарове в 1961 году, обращенного к Борису Анрепу:

Прав, что не взял меня с собой
И не назвал своей подругой,
Я стала песней и судьбой,
Ночной бессонницей и выюгой.

Меня бы не узнали вы
На пригородном полустанке
В той молодящейся, увы,
И деловитой парижанке.

Ахматова, которая провела детство и молодость в Царском Селе. дореволюционные годы – в кругах литературной богемы тогдашнего Петербурга, а двадцатые и тридцатые годы – в знаменитом Фонтанном доме, которая в 1941 году во время первых недель блокады Ленинграда призывала по радио жителей города к его защите, никогда не чувствовала себя вне России, вне Петербурга, где она прожила почти всю свою жизнь, и не могла бы так просто перестать быть собой. Современники звали ее по – разному: Анна Ахматова, Королева – бродяга, Златоустая Анна всея Руси. А близкие – Аней, Анечкой, Акумой.

Антигона, любимица софокла

Вас оставляют на конец,

Николай Пунин

Черноволосая, стройная, высокая женщина с рысьим взглядом серо – зеленых глаз прогуливается по московской Третьяковской галерее в обществе мужчины со слегка иронической улыбкой. Они образуют прекрасную пару. И слышатся удивительные слова «А теперь пойдем, посмотрим, как Вас увозят на казнь». Так запомнила и описала эту сцену Надежда Мандельштам. Парой, привлекающей взгляды, был известный искусствовед Николай Пунин и уже знаменитая поэтесса Анна Ахматова. Им уже немного более тридцати лет, они любят друг друга и верят в общее будущее.

Но откуда эти странные слова? В то время дурные предчувствия были обычным делом. Идет зима 1921 года. Через несколько месяцев будет расстрелян первый муж Анны Ахматовой, Николай Гумилев. Потом начнутся массовые аресты, ссылки, опасения за жизнь ближних и дальних друзей.

Пара остановилась перед картиной Василия Сурикова «Боярыня Морозова». На картине через заснеженную Москву ползет деревянный воз, выложенный сеном. На возу сидит закованная в кандалы женщина, одетая в великолепное

черное платье, расшитое золотом. Лицо бледное, у нее острый профиль, пронзительный взгляд, направленный куда – то ввысь над толпой, становящейся на колени и бьющей ей поклоны в ее последнем пути. Боярыня высоко поднимает худую руку, будто бы не чувствуя веса кандалов, и благословляет стоящих на коленях у дороги старцев, плачущих женщин и детей. Ахматова увидела на этой картине себя, и так возникли слова стихотворения: «А после на дровнях в сумерки / В навозном снегу тонуть... / Какой сумасшедший Суриков / Мой последний напишет путь?» («Я знаю, с места не сдвинуться...» 1937). Образ боярыни Морозовой появится в стихах Ахматовой несколько раз в качестве одного из ее двойников, мифических либо исторических отображений, а, может быть, даже воплощений.

Феодосия Морозова, происходящая из боярской семьи, была героиней движения старообрядцев. Она поддержала раскольников, отвергших литургическую реформу патриарха Никона, и 10 ноября 1671 была арестована и подвергнута истязаниям. Умерла в тюрьме в 1675 году, уморенная голодом. Старообрядцы считали ее святой монахиней – мученицей, а ее образ запечатлен в искусстве и литературе. На знаменитой картине Сурикова боярыня Морозова, несмотря на свое трагическое положение, выглядит как королева.

В ее жесте поднятой кверху руки есть нечто властное и харизматическое. По – гречески «харизма» это ласка, а *charis* – милость. Наверняка Ахматова была осыпана многими ми-

лостями. Милостями таланта, достоинства, мужества, милостью любви и сострадания. И, может быть, поэтому в годы безумствующего в России террора она сумела сохранить в себе все эти черты, перенести их, как она говорила, на другой берег Леты. В этом наверняка помогла ей также глубокая православная вера, хотя поэтесса не была демонстративно религиозной. И неизвестно, была ли печаль или ирония в одной из строк «Северных элегий» («А в Оптиной мне больше не бывать...») Оптина пустынь – легендарное место возрождавшейся в XIX веке российской духовности и религиозного чувства. Интеллигенция верила, что отшельники из Оптиной пустыни олицетворяют собой не только старые духовные православные традиции, но также и живую «русскую душу» – душу, переполненную религиозным мистицизмом и неприятием доктринального или рационального отношения к таинствам веры. Чем была переполнена душа Ахматовой, мы так до конца и не узнаем. Но когда она писала «Реквием», – наверняка ее душа была переполнена отчаянием. В стихотворении «Распятие», вошедшем в поэму, автор отождествляет душевные страдания русских матерей, оплакивающих своих сыновей, с муками Богородицы, оплакивающей распятого Христа:

Магдалина билась и рыдала,
Ученик любимый каменел,
А туда, где молча Мать стояла,
Так никто взглянуть и не посмел.

Но, пожалуй, более всего она отождествляла себя, вернее, судьба отождествила ее с мифической Антигоной, любимицей Софокла. Всю жизнь Анна провожала в последний путь своих близких и друзей. Умерших хоронила в земле, справляла им достойные похороны в стихах. Им посвятила «Реквием» – поэму, ставшую документом жестокого времени и голосом совести. Поэтесса осмелилась перенести поэму на бумагу лишь спустя четверть века после ее сочинения. До 1962 года она существовала лишь в памяти ее самой и самых преданных друзей. Ахматова разделила судьбу миллионов людей, затронутых террором, и в своих стихах говорила также и от их имени. Она заставляла себя писать, ибо только таким способом могла сделать так, чтобы «речь не превратилась в вой»...

В 1933 – 1949 годах четырехкратно подвергается аресту сын Ахматовой Лев («Лёва») Гумилев, и ее судьба повторяет судьбы многих русских женщин.

«А это вы можете описать? – спросила ее стоящая в тюремной очереди в Ленинграде женщина с серым лицом. «Могу», – ответила Ахматова, и так возник «Реквием».

Таким путем поэтесса стала подлинной Музой Плача, как назвала ее в своем стихотворении Цветаева.

«Шереметевские липы... Переключка домовых...» – написала она о тенях Фонтанного дома во времена самого жестокого террора («От тебя я сердце скрыла...», 1936). Мож-

но рискнуть перечислить эти тени, постоянно присутствующие рядом с ней и владеющие ее воображением.

Сразу после революции умирает от туберкулеза поэт и большой ее друг, выдающийся знаток ее поэзии, Николай Недоброво. Ближится месяц август. «Август – это самый жестокий месяц в году» – скажет Ахматова вслед за Элиотом.

В 1921 году в зловещем месяце августе был арестован и расстрелян первый муж поэтессы, поэт, путешественник, теоретик искусства Николай Гумилев. В том же году, также в августе, умирает Александр Блок. В 1934 году подвергнется первому аресту и затем будет сослан в Воронеж ее ближайший «товарищ по перу» – Осип Мандельштам. 31 августа 1941 года в Елабуге, доведенная до крайности, совершает самоубийство Марина Цветаева. А 14 августа 1946 года выходит знаменитое Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах "Звезда" и "Ленинград"» авторства Андрея Жданова, где поэзия Ахматовой подвергается жестокой, уничтожающей и грубой критике.

Вплоть до 1958 года не выйдет ни одного сборника ее стихов. Отдельные стихотворения будут иногда появляться в антологиях, например, в книге, изданной в Москве в 1954 году. В ней были помещены три стихотворения Ахматовой 1950 года, славящие мир и занятия пионеров в летнем пионерском лагере в Павловске. Для сравнения, в антологии было опубликовано шестнадцать стихотворений Маяковского и лишь одно – Блока. В 1949 году попадает в лагерь послед-

ний спутник ее жизни Николай Пунин и, уже выпущенный на свободу, умирает в лагерном лазарете в 1953 году. – «Вас оставляют на конец» – говорил Пунин с сарказмом. Ахматова ждала. Вся ее жизнь была ожиданием: стука в дверь, незнакомых шагов на лестнице, дурных известий, смерти. Ждала исполнения слов Пунина о том, что «повезут ее на казнь».

Ахматова прошла многие ступени посвящения в грозной атмосфере террора. В двадцатые годы террор был страшным, но все же не шел ни в какое сравнение с террором конца тридцатых годов, утратившим всякий смысл и логику, так называемым Большим Террором. Страх за себя и близких – вот чувство, которое она должна была преодолевать всю свою жизнь. А ведь «страх, который сопровождает сочинение стихов, ничего общего со страхом перед тайной полицией не имеет. Когда появляется примитивный страх перед насилием, уничтожением и террором, исчезает другой таинственный страх – перед самим бытием», – напишет Надежда Мандельштам в своей волнующей книге «Надежда в безнадежности».

Экзистенциальный страх, чистый страх перед неведомым – это не то же самое, что страх перед полицией, издевательствами и физическим уничтожением. Ахматовой всегда сопутствовал благородный, таинственный страх существования. В своих «Воспоминаниях» ее подруга и многолетний хроникер Лидия Чуковская сообщает о разговоре с Ахмато-

вой в 1962 году, за несколько лет до ее смерти. Поэтесса написала тогда стихотворение «Последняя роза»:

Мне с Морозовою класть поклоны,
С падчерицей Ирода плясать,
С дымом улетать с костра Дидоны,
Чтобы с Жанной на костер опять.
Господи! Ты видишь, я устала
Воскресать, и умирать, и жить.
Все возьми, но этой розы алой
Дай мне свежесть снова ощутить.

Комарово, 9 августа 1962

Лидия Чуковская пишет о замечаниях, которыми она обменялась с Ахматовой в связи с образом Жанны д'Арк, возникающем в этом стихотворении. Ахматова вспоминала: «Мне один человек в 38 – м сказал: "Вы бесстрашная. Вы ничего не боитесь". Я ему: "Что вы! Я только и делаю, что боюсь". Правда, разве можно было не бояться? Тебя возмут и, прежде чем убить, заставят предавать других».

И добавила еще: «Да. Страх. В крови остается страх. (...) Осип после первой ссылки воспел Сталина. Потом он сам говорил мне: "это была болезнь". Сохранились допросы Жанны д'Арк. На третьем ей показали в окно приготовленный заранее костер. И она отреклась. На четвертом снова стала утверждать свое. Ее спросили: почему же вы вчера были согласны? "Я испугалась огня"».

Молчание. Мы обе посмотрели в окно.

«Я испугалась огня», – повторила Анна Андреевна нежным, берущим за душу, жалобным голосом. И еще раз по-французски: «...J'ai peur du feu».

Эти слова Ахматовой с характерным для нее великодушием иллюстрируют библейскую заповедь: «не судите, да не судимы будете». Было бы бесчестным осуждать людей во времена сталинского террора за то, что они «сломались», раз уж сам святой Петр троекратно отрекся от Христа.

Девушка с разбитым кувшином

*...А там мой мраморный двойник,
Поверженный под старым кленом,
Озерным водам отдал лик,
Внимает шорохам зеленым.*

Анна Ахматова «СТИХИ О ЦАРСКОМ СЕЛЕ»

Ахматова часто ходила в церковь, с платком на голове. Молилась, стоя на коленях, перед старыми иконами, по которым бегали огоньки масляных лампадок. Молилась о сохранении жизни своим близким, о возвращении мужа, сына, друга. Церкви давали ей укрытие, помогали хоть на минуту восстановить душевное спокойствие. Вот обычный день в Фонтанном доме. На столе чай, чашки, миска с фруктами. В комнатах крутится Тап, крупный сенбернар, с которым весело разговаривает хозяйка. Она одета в темно – синее платье с большим вырезом, по моде двадцатых годов. Это уже известная поэтесса и зрелая тридцатилетняя женщина. Ждет возвращения с работы своего третьего мужа, Николая Пунина. Но ее серые глаза смотрят строго, в них грусть глубоких переживаний. А ведь тот момент, когда я, стоя у овального стола в Фонтанном доме под увековеченным на фотографиях бордовым абажуром представляю себе Ахматову, – это даже не середина ее необыкновенной жизни.

Она началась еще в XIX веке. Возможно, жизненную силу, присущую ей, дало начало ее жизни, царскосельское детство, когда она заглядывала в коридоры того лицея, в котором учился Пушкин. Уж не тогда ли появилось в ней глубокое убеждение, что она поэтесса и что наверняка будет писать стихи? А может быть, это произошло в молодости, когда в петербургском литературно – музыкальном кабаре «Бродячая собака» собирались и до рассвета вели споры об искусстве Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Владимир Маяковский, Михаил Кузмин, Владислав Ходасевич и другие, столь же художественно одаренные? Когда она стала моделью для рисунков Модильяни, и ее запечатлели на портретах Альтман и Анненков, ценили самые выдающиеся художники того времени. А после революции, когда в одно мгновение закончилась эта ее жизнь, где – то внутри, в глубине, она сумела остаться собой.

До революции у нее уже было все: и слава, и любовь. Она дружила с людьми выдающимися и благородными. Кто хоть раз в жизни почувствовал своим телом прикосновение настоящего шелка, держал в своих пальцах подлинное, а не искусственные кружева, того уже не соблазнят дешевые подделки, пусть даже ему внушат, что это самый благородный, а то и единственно возможный материал.

Ахматовой было дано познать структуру шелка, узнать и полюбить людей, дух которых формировался столь же благородным городом. Может быть, поэтому Ахматова сумела

обитать в неотопливаемом жилище, рубить дрова и питаться порой лишь коркой черного хлеба и горьким чаем в течение долгих зимних послереволюционных месяцев. Она никогда не неволила свою поэтическую Музу, чтобы вести более легкую жизнь, пользуясь теми привилегиями, которые новый режим предоставлял послушным писателям.

Как Ахматовой удалось уцелеть? Власти ведь не могли не знать, что она пишет «Реквием», доносы были повседневным явлением. На этот вопрос не найти рационального ответа. Она сама утверждала, что уцелела лишь потому, что власти взяли в заложники за нее единственного сына, которого многократно арестовывали, истязали, ссылали.

Впрочем, Ахматова всегда оставалась в стороне от политики, жила своей внутренней жизнью и занималась литературным трудом. Ее не привлекало материальное содержание, которого она могла добиться, став известным советским литератором. Во времена НЭПа она с пренебрежением относилась к роскошным лимузинам, богатству и к дружбе с советскими чиновниками, охотно занимавшимися культурой. Ей ни к чему была роскошь и общество разодетых в меха дам из новой элиты, – ей, подругой которой была знаменитая статуя в Царском селе, отлитая в бронзе девушка с разбитым кувшином. Ей, которая чувствовала себя наследницей Пушкина.

Пушкин, впрочем, сопровождал ее при различных обстоятельствах и в разные периоды ее жизни. Например, на ост-

рове Голодай, впоследствии поглощенном Петербургом, где Ахматова вместе с Надеждой и Осипом Мандельштамами блуждала среди зарослей в поисках могилы расстрелянного Николая Гумилева. За сто лет до этого Пушкин искал там могилу декабристов. Ходили слухи, что царь приказал похоронить повешенных бунтовщиков именно там.

Поэтесса театрального жеста

*Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.*

Анна Ахматова

Вернемся теперь к 1890 году. В Царское Село, город муз, в котором проживало много поэтов и писателей, который носит сейчас название Пушкин, приехала семья Горенко, состоявшая из пяти человек, привезя с собой будущую Анну Ахматову.

Царское Село и Петербург соединяла пригородная железная дорога. Трудно, однако, этот широкий и тяжелый железнодорожный путь назвать узкоколейкой. Как и все в России, он по – своему монументален, слишком велик для человека. Сейчас конец августа, лето поворачивает на осень, и листья на деревьях уже кое – где пожелтели. Может быть, эти самые деревья видела в детстве Аня, одетая в гимназическую форму, когда ездила в Петербург с отцом, братьями и сестрами на оперный спектакль в Мариинский театр, либо в Эрмитаж или музей Александра III, в котором сейчас размещается Русский музей.

Я высаживаюсь на новом, послевоенном вокзале. В парк и Царскосельский дворец нужно еще ехать на автобусе. Ре-

шаю идти туда пешком, а по дороге хочу еще заглянуть на то магическое место на углу улицы Широкой и Безымянного переулка, где стоял дом купеческой вдовы Евдокии Ивановны Шухардиной, – дом, в котором прошло детство Ани Горенко и ее ранняя молодость.

Дому было уже сто лет, когда в него въехала семья Горенко.

Когда –то, еще перед постройкой железной дороги, в нем размещалось что – то вроде корчмы или постоянного двора рядом с городской заставой. Аня жила в комнате с желтыми обоями, окно которой выходило на Безымянный переулок, зимой засыпанный глубоким снегом, а летом заросший высокой крапивой и лопухами. В комнате стояла кровать, столик, за которым будущая поэтесса делала уроки, этажерка для книг и свеча в бронзовом подсвечнике. В углу икона, перед ней масляная лампадка. Сидя у свечи, она читала – много, страстно, без остановки. Некрасов, Державин, Пушкин, Толстой, Гамсун, Ибсен – это были ее первые любимые книги. Анин литературный вкус сформировался очень рано. В будущем ее любимыми книгами станут произведения Джойса и «Процесс» Кафки. О «Волшебной горе» Манна она скажет, что в ней содержится глубокая истина, однако – короткая и недосказанная до конца: что любовь это боль. Пастернак был для нее, прежде всего, поэтом, хотя «Доктора Живаго» она ценила. Смеялась над Ремарком. Шутила, что тот неудачно подражает Томасу Манну, герои которого слишком

часто, вопреки статистике, умирают от туберкулеза. Зато ее восхищал Кафка: «Я понимаю, что он мог описать свои дурные сны, но откуда он знает мои дурные сны?» Исая Берлин, вспоминая свои встречи с Пастернаком и Ахматовой, приводил слова поэтессы о Кафке: «Он писал для меня и обо мне (...) Джойс и Элиот – выдающиеся поэты, но они стоят ниже него, самого глубокого и самого правдивого современного писателя». «Процесс» Кафки был для нее, возможно, одной из важнейших книг. Многие из их атмосферы этого потрясающего гротеска перейдет в ее единственную драму «Энима элиш», написанную в Ташкенте после эвакуации из осажденного Ленинграда, – пьесу, сожженную автором и восстановленную по памяти.

Атмосферу кафкианского ужаса, пронизавшего ее жизнь, она передает в стихотворении «Подражание Кафке», написанном в Комарове в 1960 году.

Другие уводят любимых, —
Я с завистью вслед не гляжу.
Одна на скамье подсудимых
Я скоро полвека сижу.

Вокруг пререканья и давка
И приторный запах чернил.
Такое придумывал Кафка
И Чарли изобразил.

Через полвека после выхода в свет ее первого сборника «Вечер» с незабываемым любовным стихотворением, в котором героиня «на правую руку надела перчатку с левой руки», знаменитом и многократно цитируемом, поэтический голос Ахматовой зазвучал, на первый взгляд, совершенно по – другому. Я пишу «на первый взгляд», потому что, хотя поэссе, по ее словам, «замуровали» в десятых годах XX века, превратив ее в классическую певицу неразделенной любви, уже тогда в ее любовных признаниях было много иронии, дистанции и театрального жеста. Голос Ахматовой, хотя и меняющийся и преображающийся, в своих главных регистрах остался до конца таким же неповторимым. Бронзовым и в то же время саркастическим. Лиричным и одновременно ироническим. Трагичным, но приправленным горькой шуткой. Рыдающим, наподобие античного хора – и временами переходящим в простонародный или гротескный тон. Он не был ни авангардным, ни классическим. Попросту был ахматовским.

О целостности Ахматовой писал в своем письме Пунин из госпиталя в Самарканде в 1942 году: (...) «И мне показалось тогда, что нет другого человека, жизнь которого была бы так цельна и поэтому совершенна, как Ваша; от первых детских стихов (перчатка с левой руки) до пророческого бормотанья и вместе с тем гула поэмы».

В детстве она большей частью читала, а когда не читала, предавалась мечтаниям и срывала со стены куски жел-

тых обоев, слой за слоем, пока не показывался последний, пурпурный слой, Думала о том, что обои были тут уже сто лет назад, и таким образом совершала своеобразные путешествия во времени. Обстановка в ее комнате была аскетической, однако воображение молодой девушки умело из всего создавать собственный, таинственный поэтический мир. Это осталось особенностью ее личности до конца жизни. Красивые предметы она всегда раздавала близким и друзьям. Кровать, книги, лампа, письменный стол – вот обычно та мебель, которая находилась в ее очередных, более или менее случайных комнатах или квартирах. Нельзя, однако, сказать, что она жила как монахиня, запертая в монастыре поэзии, потому что новое платье или шляпка всегда доставляли ей большую радость. В воспоминаниях часто можно встретить образ Ахматовой в шелковом шлафроке, вышитом золотыми драконами, перемещающейся по комнате, где имеются лишь книги, сломанное кресло и пыль. Она не привязывалась к вещам, однако питала безумную привязанность к собственному образу, в ней была некая театральная поза, она играла «Ахматову» при любых обстоятельствах. Но скорее всего она при любых обстоятельствах оставалась Ахматовой. Потому что быть Ахматовой, сохранять в себе все ахматовское, не только в любви и блеске славы, но также и в страдании, в нужде, в одиночестве, – вот настоящее искусство. Ее одежда, ее жесты, ее королевская холодность, ее манера держать голову описаны в различных воспоминаниях сотни раз, а также

запечатлены на портретах и в стихах.

В «Воспоминаниях о Мандельштаме» Ахматова рассказывает о вечере в «Бродячей собаке», когда она стояла на эстраде и с кем – то разговаривала. Несколько человек в зале попросили ее почитать стихи. И Ахматова начала чтение. Восхищенный Мандельштам произнес: «Как Вы стояли. Как Вы декламировали!».

В Царском Селе ее окружение: друзья, семья, магия места, где она воспитывалась, его благородство, традиции – не только литературные – непреходящая красота повторяющихся времен года и классическая красота царскосельских статуй укрепили в ней убеждение в том, что подлинная, внутренняя красота человека может приобрести свою внешнюю форму именно в превращении повседневности в театр. Для этого не нужны материальные богатства, требуется лишь самоощущение, умение чувствовать и различать красоту во всех ее проявлениях. И большая сила характера. В конце жизни ее даже обвиняли в том, что она излишне привязана к своему внешнему образу великой русской поэтессы, чересчур заботится о своей посмертной славе. Наверняка ей случалось быть также эгоцентричной и капризной. Разрыв в Ташкенте дружбы с преданной ей Лидией Чуковской, или вернее, десятилетний перерыв в этой дружбе, оставил след в их взаимных отношениях до конца жизни. Что ни говори, она была черным лебедем. Однако если оставаться при метафоре театра, то ее художественная родословная, выводящаяся из

авангардного театра Мейерхольда, – это тоже иронический жест, дистанция, саркастическое остроумие. Ахматова славилась огромным чувством юмора и способностью к быстрому остроумному ответу. Она не придиралась к мелочам, не проливали слез по поводу жизненного вздора. Однако «Поэма без героя», пьеса «Энума элиш» и даже ее ранние любовные стихи полны иронии и театральной позы – это маленькие сценические мистерии. Например, такой фрагмент из томика «Четки» («Вечером»):

Он мне сказал: «Я верный друг!»
И моего коснулся платья.
Так не похожи на объятья
Прикосновенья этих рук.

Так гладят кошек или птиц,
Так на наездниц смотрят стройных...
Лишь смех в глазах его спокойных
Под легким золотом ресниц.

В этом смысле собственные стихи очень ее напоминали – сплетение красоты и трагедии с сарказмом и иронией. Мифологизированная действительность и другая действительность, видимая со стороны, сотворили из ее жизни и стихов античную драму, смешанную с гротескным театром поэзии.

Под конец жизни у Ахматовой, собственно, не было дома. Комнатка на улице Красной конницы, «будка» в Комарове

либо случайные комнаты у друзей – это были ее владения. Но всегда, когда она появлялась в дверях, прямая, высокая, в своей знаменитой шали, наброшенной на плечи, она выглядела как королева. Она охотно позволяла называть себя Королевой – бродягой.

Царкосельское детство

Н. Г.

*В ремешках пенал и книги были,
Возвращалась я домой из школы.
Эти липы, верно, не забыли
Нашу встречу, мальчик мой веселый.*

Анна Ахматова (1912)

Уже с раннего детства так же последовательно, как и свою личность, Ахматова создавала свою поэтическую биографию. А ее настоящую, сухую биографию можно ограничить до нескольких сообщений. Родилась она 11(23) июня 1889 года в дачном домике под Одессой, на 11 – й станции пригородной железной дороги с паровичком, в местности, называемой Большой Фонтан. Ее отец, Андрей Антонович Горенко, был тогда морским инженером на пенсии. Мать, Инна Эразмовна, была умной, деликатной женщиной, в молодости членом партии «Народная воля». У Анны, третьего ребенка в семье, было два брата и две сестры: старший брат Андрей и старшая сестра, унаследовавшая от матери странное имя Инна, а также младшая сестра и брат Виктор. Когда Анне Горенко исполнился год, семья переехала на север, в Царское Село. Андрей Антонович Горенко нашел там работу, и бла-

годаря этому вся семья поселилась в Царском Селе, летней резиденции царской семьи. Дети Горенко начали посещать гимназии, мужскую и женскую. Анна ходила в Мариинскую Царскосельскую гимназию на улице Леонтьевской.

Однако начало биографии, сочиненное самой Ахматовой, впрочем, в соответствии с подлинными фактами, звучит уже гораздо более поэтично: «Я появилась на свет в том же году, что и Чарли Чаплин, "Крейцера соната" Толстого, Эйфелева башня и, кажется, – Элиот. Летом того года Париж праздновал столетие взятия Бастилии – 1889. В ту ночь, что я родилась, у нас столетиями отмечалась ночь на Ивана Купалу – 23 июня.

Меня назвали Анной в честь бабушки Анны Мотовиловой, ее мать была чингизидкой, происходила из рода татарской княгини Ахматовой, фамилию которой, – еще не зная, что собираюсь стать русской поэтессой, – я выбрала в качестве литературного псевдонима. Одна из княгинь Ахматовых – Прасковья в XVIII веке вышла замуж за богатого и родовитого помещика Мотовилова. Егор Мотовилов был моим прадедушкой. Его дочь Анна – моя бабушка. Она умерла, когда моей маме было девять лет. Из узорной металлической полоски, которую она носила на лбу, выковали несколько перстней с бриллиантами и один – с изумрудом. Ее наперстка я не могла надеть, хотя у меня тоже были тонкие пальцы».

Уж не семейный ли снобизм – сконструированное подоб-

ным образом начало биографии? Все же отец Ахматовой не без оснований считал себя русским аристократом. Или это – проявление поэтического образа мышления, которое умеет так осветить факты, чтобы они казались необычайными и таинственными?

Свое детство Ахматова называет великолепным, неповторимым, языческим. Осень, зиму и весну проводили в Царском Селе, а летом семья выезжала в Крым, где недалеко от Севастополя, на берегу Стрелецкой бухты, неподалеку от древнего Херсонеса, у ее родителей был летний дом. Там она полюбила море и снискала себе прозвище «дикой девочки».

Ходила босиком и без головного убора, прыгала из лодки в воду в открытом море, купалась во время шторма и загорала так сильно, что облезала кожа. Ей нравилось шокировать всем этим воспитанных севастопольских барышень. Море осталось в ней навсегда и вошло в ее стихи как постоянный мотив и точка отсчета. Даже внешне Аня немного напоминала русалку, морскую царевну. Валерия Срезневская, ее подруга с малых лет, вспоминает, что десятилетняя Аня внешне выглядела, как водная наяда. Щуплая, тоненькая, гибкая, высокая, со стройными ногами и красивыми руками, она глядела на мир с неразгаданной усмешкой и хмурым выражением светлых, серо – зеленых глаз. У нее были прямые, длинные, черные волосы и горбинка на носу, ставшая характерной чертой ахматовского профиля, который позднее был увековечен художниками и скульпторами. Валя Тюльпанова,

будущая Срезневская, была одной из трех подруг, которых Ахматова до конца жизни звала по имени. Детские дружбы ведь самые прочные. В жизни человека нет более важного момента, чем совместное подрастание, взаимное формирование. Общие воспоминания – самые прочные. Вместе подрастать – это как будто вместе родиться для будущей взрослой жизни.

В Царском Селе их было несколько: Аня Горенко, ее старшая сестра Инна, брат Андрей, ближайшая подруга Валя и два ученика старших классов гимназии, Митя и Коля Гумилевы, сыновья богатого землевладельца в Бежецком уезде Тверской губернии.

Пятнадцатилетняя Аня Горенко познакомилась со старшим коллегой, Колей Гумилевым, в канун Рождества Христова 1904 года. Царское Село засыпало снегом, был прекрасный солнечный день. Молодежь отправилась вместе покупать елочные игрушки. Николай родился 3 апреля 1886 года в Кронштадте, военно – морской базе, защищающей подступы к Санкт – Петербургу. Его отец работал там корабельным врачом. Николай, так же как и Анна, проводил детство в Царском Селе. Из – за слабого здоровья он до десяти лет учился дома и подобно ей много читал. К тринадцати годам он знал уже русских классиков, Мильтона, Кольриджа, Ариосто, а его страстью сделалась астрономия. Он открыл для себя Ницше и решил посвятить свою жизнь поэзии. Высокий, немного неловкий блондин, зачитывавшийся поэзи-

ей французских символистов, хотя знал французский язык не лучшим образом, влюбился в необыкновенную интеллигентную девочку, которая не слишком им интересовалась, но была товарищем по поэзии. Так оно и осталось. Весь следующий год он ждал ее после уроков, провожал домой, спорил с ней об искусстве. Они бродили по аллеям царскосельского парка, по которым теперь хожу теперь и я, сто лет спустя. Прошел целый век...

«Уже кленовые листья на пруд спадают лебединый...» — написала Ахматова в одном из стихотворений, и я действительно вижу, как красный лист опускается на спокойную поверхность царскосельского пруда. Конец лета. Это та пора, когда что — то еще продолжается, но уже известно, что неотвратно должно закончиться. Это неуловимый запах исчезновения, который носится в воздухе, когда приходит конец жизни, эпохи, любви, времени года. Прохожу мимо сапфирового Екатерининского дворца с желтыми, неровно покрашенными колоннами. Кое — где отваливается штукатурка. Византийская пышность, советская безалаберность и классическая торжественность огромного парка. Озеро, павильоны, аллеи, мостики, скульптуры в романтических позах. Далее, уже за парком, сапфировая церковь и арка, соединяющая ее со зданием, которое предназначалось для царских детей, однако уже в начале XIX было перестроено и превращено в Лицей, в классах и коридорах которого ходил юный Пушкин. В такой обстановке Анна начала создавать соб-

ственную мифологию.

Она чувствовала себя младшим товарищем Пушкина по перу. Первые, еще школьные стихи будущей Ахматовой, к сожалению (а может быть, и к счастью), не сохранились. Несколько более поздние, впервые напечатанные в петербургских литературных журналах, она прятала под подушки на диване, «чтобы не расстраиваться». Но одно пророческое стихотворение сохранилось. О черном перстне, полученном ею в дар от месяца. Перстень – как бы метафора таинственного дара поэзии, полученного от судьбы. Стих заканчивается уверением: «Я кольца не отдам никому, никогда» («На руке его много блестящих колец...» 1907). Вот тут Ахматова проявила последовательность. Никогда, ни при каких обстоятельствах она не прекратит писания стихов.

Когда в семнадцать лет в одном из петербургских журналов была опубликована подборка ее стихов, отец позвал ее к себе и потребовал, чтобы она публиковала свои стихи под псевдонимом. И так возникли эти, по словам Бродского, «пять открытых «А» (Анна Ахматова). Они завораживали, и она прочно утвердилась в начале русского поэтического алфавита. Пожалуй, это была ее первая удачная строка, отличая акустически безупречно». С той поры Анна Горенко стала поэтессой Анной Ахматовой.

Сегодня восстановленный дворец и отреставрированный парк в Царском Селе не очень отличаются от тех, которые помнила Ахматова. Дворец, возведенный в начале XVIII ве-

ка, представляет удивительное зрелище. К первоначальному строению очередные властители добавляли свои дополнения, чтобы дворец выглядел солидней, и сегодняшняя его длина превышает 350 метров. А началось с того, что в 1710 году царь Петр Великий подарил своей второй жене Екатерине I небольшое имение, лежащее в 24 км к югу от Петербурга. Когда дочь Екатерины Елизавета взошла в 1741 году на трон, величина дома «о шестнадцати покоях» ее вовсе не устроила. В связи с этим первоначальное строение было расширено, к нему добавились боковые крылья и галереи. Возникло странное неоднородное архитектурное сооружение. На помощь был призван итальянец Франческо Бартоломео Растрелли, который подверг здание полной реконструкции, придав ему современный вид. В Царском Селе сейчас стоит памятник зодчему Растрелли, который сберег красоту царской загородной резиденции. Ниже восточного фасада Дворца простирается Старый парк. Идя по нему, можно дойти до Большого пруда с павильоном «Грот», позднее переименованным в «Утреннюю залу», к Агатовому павильону, Галерее Камерона, а с берега увидеть стоящую посреди пруда Чесменскую колонну, сооруженную в память о победоносном сражении российского флота с турецкой эскадрой.

Нет только черных австралийских лебедей, упоминаемых Ахматовой.

Однако, прослеживая царскосельские мотивы в творчестве Ахматовой, можно догадаться, что важнейшими для нее

оказались две статуи, по сей день стоящие в парке. Первая из них – это памятник Пушкину, отлитый по модели Ричарда Баха в 1900 году. На бронзовой скамейке сидит юноша, вслушивающийся в шум деревьев, а, возможно, в звуки своих стихов, как и сидел много лет назад. На нем расстегнутый лицейский мундир. Рядом на скамейке – лицейский головной убор. Когда в 1941 году немцы подошли к Ленинграду и заняли Царское Село, жители поспешно сняли памятник с пьедестала и закопали где – то в парке. Многие знали, где он был закопан, но немцы ничего не смогли узнать. Когда закончилась война, статую немедленно откопали. На пьедестале вновь установлена скамейка, на ней сидит бронзовый юноша, рядом с ним лежит бронзовая треуголка. Памятник по сей день стоит в парке рядом со зданием Лицея.

Поэт в своем зрелом творчестве не раз возвращался к пейзажам и настроениям Царского Села. В 1831 году он проводил здесь с женой свое первое счастливое лето после женитьбы. Ахматова занималась жизнью и творчеством Пушкина много лет, посвятив ему ряд эссе, историко – литературных работ. Она посвятила ему много стихов, но самым волнующим, пожалуй, является то, где она описывает поэта, будто бы минуту назад вставшего со своей «памятной» скамейки:

Смуглый отрок бродил по аллеям,
У озерных грустил берегов,
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов.

Иглы сосен густо и колко
Устилают низкие пни...
Здесь лежала его треуголка
И растрепанный том Парни.

Следующий царскосельский памятник, неоднократно воспетый в поэзии, это бронзовая скульптура девушки с разбитым кувшином. Она была создана скульптором Павлом Соколовым в 1816 году в литейной мастерской Императорской Академии художеств в Санкт – Петербурге..

Александр Пушкин посвятил этому памятнику следующую строфу:

Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.
Дева печально сидит, праздный держа черепок.
Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой;
Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит.

Почти сто лет спустя Ахматова ответила Пушкину стихотворением «Царскосельская статуя»:

Я чувствовала смутный страх
Пред этой девушкой воспетой.
Играли на ее плечах
Лучи скудеющего света.
И как могла я ей простить
Восторг твоей хвалы влюбленной...
Смотри, ей весело грустить,

Такой нарядно обнаженной.

Именно по поводу этого стихотворения Ярослав Ивашкевич высказал предположение, что Ахматова «в бронзовой девушке увидела соперницу, женщину, которую обессмертил Пушкин». Однако девушка с разбитым кувшином была для Ахматовой скорее сестрой по несчастью, нежели соперницей. В момент создания стихотворения Ахматова тоже уже «воспевалась в песнях» самых выдающихся поэтов своей эпохи: Мандельштама, Блока, Пастернака и Цветаевой. А статуя должна была вскоре стать метафорой ее судьбы. В течение многих последующих лет ей тоже придется держать в руках разбитый кувшин: ушедшую любовь, тоску по расстрелянному мужу, страх о судьбе арестованного и пребывающего в советских лагерях сына, и в конце – печаль по друзьям: убитым, умершим, сосланным или изгнанным.

Ожерелья должны быть дикарскими

*Ожерелья должны быть дикарскими.
Амадео Модильяни*

Когда родители Анны Горенко развелись, мать вместе с детьми уехала на юг, в Евпаторию. Будущая поэтесса проходила дома программу предпоследнего класса гимназии, писала множество стихов и тосковала по Царскому Селу. В отрезанную от мира Евпаторию доходили лишь отзвуки революции 1905 года, однако Ахматова в будущем всегда будет называть этот год переломным, годом своего пробуждения. В ее стихах часто появляется Цусима, где потерпел катастрофу российский флот, уничтоженный японцами, а также эхо событий девятого января 1905 года. В этот день, названный позднее «кровавым воскресеньем», 150 тысяч невооруженных рабочих под предводительством попа Гапона шли маршем к Зимнему дворцу, неся кресты, иконы и распевая гимны, чтобы передать царю петицию о необходимости улучшения положения рабочих. По мирной демонстрации был открыт ружейный огонь, было множество раненых и до тысячи убитых. При известии о побоище начались бунты по всей стране, которые жестоко подавлялись. Революция 1905 года была началом кризиса, распространившегося от Урала до

Черного моря. В семье Горенко тоже произошел кризис, но только частный. Вследствие конфликта со своим работодателем Великим князем Александром Михайловичем отец Анны лишился места. Одновременно он расстался с женой и сошелся с другой женщиной. 15 июля умерла сестра будущей поэтессы Инна, страдавшая от туберкулеза. Весной 1905 года шестнадцатилетняя Аня Горенко влюбилась в старшего на десять лет Владимира Голенищева – Кутузова, студента Петербургского университета, происходящего из семьи победителя Наполеона. В письмах Анны к мужу своей сестры Инны, с которым она дружила, содержится множество признаний, касающихся этой любви, а также печали и даже депрессии, возникшей из-за разрыва с оставившим ее Голенищевым.

Во время всех этих переживаний к ней регулярно приходили письма от Коли Гумилева, а после окончания Фундуклеевской гимназии в Киеве в 1907 году и ее поступления на юридический факультет Высших женских курсов Коля сделался частым гостем в ее семье. Молодой поэт издавал в Париже литературно – художественный журнал «Сириус». Этот журнал оказался эфемерным и после издания трех первых номеров перестал выходить. Тем не менее, Николай Гумилев успел поместить во втором номере стихотворение, написанное восемнадцатилетней поэтессой Анной Ахматовой:

На руке его много блестящих колец —

Покоренных им девичьих нежных сердец.

Этот номер журнала «Сириус» наверняка разделил судьбу других журналов с ее стихами, которые молодая поэтесса прятала под подушки дивана, «чтобы не расстраиваться». Однако, как содержание этого стихотворения, так и появляющиеся в нем мотивы месяца и таинственного кольца являются уже выражением ее поэтического кредо.

В 1907 году Анна Горенко окончила киевскую гимназию. Лето она провела с матерью в Киеве. Николай Гумилев продолжал объясняться в любви, а Анна ему отказывала. В августе того же года Гумилев начал учебу на юридическом факультете Петербургского университета. Когда через несколько месяцев Анна его снова отвергла, он поехал в Париж, где вполне серьезно пытался покончить с собой. Он был впечатлительным, неуверенным в себе, склонным к крайностям, но отважным, и даже был награжден двумя Георгиевскими крестами за мужество во время Первой мировой войны. После очередной попытки самоубийства он был найден без сознания в Булонском лесу. Четыре месяца спустя он вернулся в Севастополь и снова объяснился с Анной, чтобы еще раз получить отказ. В сентябре и октябре 1908 года Гумилев путешествовал по Абиссинии. Из своих путешествий он привозил Анне африканские ожерелья и стихи. В это время он уже был автором двух томов стихов: «Путь конквистадоров» и «Романтические цветы». Последний томик, опубликован-

ный в начале 1908 года, был посвящен Анне Андреевне Горенко. Среди прочих там было красивое и грустное стихотворение «Жираф».

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далеко, далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф. (...)

Я знаю веселые сказки таинственных стран
Про черную деву, про страсть молодого вождя,
Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман,
Ты верить не хочешь во что – нибудь, кроме дождя.

На Пасху 1905 года он попросил руки Анны, а когда та опять ему отказала, впал в глубокую депрессию. Тем временем в письмах к мужу своей сестры Анна признавалась, что по – прежнему любит Голенищева. Попросила раздобыть для себя его фотографию. Наверняка он выполнил ее просьбу, потому что в очередном письме Анна пишет: «на снимке он точно такой, каким я его знала, полюбила и потому страшно боялась. Такой элегантный, безразличный и холодный». Наконец, после долгого периода ухаживания Николай Гумилев неожиданно получает ее согласие. Быть может, со стороны Анны это была попытка порвать с прежней жизнью. Ее тяготила финансовая зависимость от деспотичного дяди и нелегкая жизнь в Киеве. Супружество с Гумилевым обе-

щало желанную перемену, сулило совершенно иную жизнь: яркую, артистическую и, прежде всего, – новую.

Они обвенчались 25 апреля 1910 года в сельской церкви в Черниговской губернии. В свадебное путешествие отправились на месяц в Париж. В Париже прокладывались новые бульвары, женщины носили брюки попеременно с элегантными платьями, а книги стихов покупались парижанами, прежде всего, ради интересной виньетки и художественного оформления, как написала в очерке «Коротко о себе» Ахматова. Она писала также, что французская живопись поглотила французскую поэзию. Весну 1911 года Ахматова тоже провела в Париже, на этот раз самостоятельно. Она жила на третьем этаже здания XVIII – го века на улице Бонапарте. В это время она ближе познакомилась с Амадео Модильяни, никому не известным художником. Это был полный очарования молодой человек 21 года от роду. Взаимное восхищение Ахматовой и Модильяни принесло в ту весну много набросков и рисунков. Ахматова вспоминает: «Его не интересовало портретное сходство. Интересовала поза. Он рисовал меня раз двадцать. Он был итальянским евреем, низким, с золотыми глазами, очень бедным. Я сразу поняла, что у него большое будущее. Почти все рисунки пропали в первые годы революции в нашем доме в Царском Селе. В доме квартировали красноармейцы, которые сожгли рисунки Модильяни. Попросту пустили их на самокрутки».

На вопрос, было ли знакомство с Модильяни для нее важ-

ным, Ахматова ответила: «Как счастливое воспоминание, наверняка». Всего несколькими штрихами Модильяни умел передать все то, из чего складывалось несколько декадентское, неповторимое очарование Ахматовой. Высокая, гибкая, податливая, она как бы состояла из одних только перегибов, худых рук, длинной шеи, характерного наклона головы и маленькой горбинки на носу. Идеальная модель, со строением тела настолько прорисованным, что оно могло бы почти полностью лишиться собственной воли воображение художника.

Амадео Модильяни учился у итальянского импрессиониста Джованни Фаттори. После окончания учебы перебрался в Венецию, где познакомился с футуристической живописью, а затем в 1906 году поселился в Париже. Жил на небольшие деньги, присылаемые ему матерью. В своих «Воспоминаниях» о нем, которые Ахматова намеревалась включить в свою автобиографию и наброском которой были «Страницы из дневника», поэтесса пишет, что во времена их знакомства он был совсем убогим, и трудно было понять, за счет чего он живет, а как художник он в те времена не имел еще и тени признания. Но он никогда не жаловался. В Люксембургском саду они всегда сидели на скамейке, а не в платных креслах, иногда, в дождливые дни – под большим черным зонтом.

Ахматова со свойственной ей проницательностью заметила: «Вероятно, мы оба еще не понимали одной существенной вещи: все, что с нами происходит – это лишь предис-

тория наших жизней: его – очень короткой, а моей – очень долгой. Дыхание искусства еще не испепелило, не исказило этих двух существований, для нас это должен был быть светлый, легкий час перед рассветом. Однако будущее, которое, как известно, бросает тень задолго до своего появления, стучалось в окно, скрывалось за фонарями, пробегало в снах и поражало страшным бодлеровским Парижем, притаившимся где – то рядом. Потому все, что было в Амадео божественного, лишь искрилось во мраке».

Модильяни в те времена был очарован Египтом. Он брал с собой двадцатидвухлетнюю поэтессу в Лувр для посещения исключительно египетского отдела, как если бы все остальные сокровища, собранные там, не имели значения. Несколько раз он рисовал голову Ахматовой в украшениях египетских королей и танцовщиц, а также рисовал ее обнаженной в подаренном ей Гумилевым африканском ожерелье. Он говорил: «ожерелья должны быть дикарскими», что поэтесса запомнила и записала. Еще одно воспоминание Ахматовой того периода связывается с розами. Однажды она неожиданно зашла к Модильяни, но не застала его дома. Принесла с собой букет красивых алых роз. Устав его ждать, стала забавляться бросанием роз в комнату художника через открытое окно. Придя домой, тот с изумлением увидел устланную розами комнату и не мог понять, как Ахматова попала внутрь. Он сказал, что розы были уложены слишком красиво, чтобы поверить в случайность случившегося.

Хотя Ахматова считала, что ее акты, выполненные Модильяни, пропали, сегодня уже известно, что наверняка сохранились 23 рисунка из коллекции врача Поля Александра, который, восхищенный творчеством Модильяни, скупал его картины, начиная с 1907 года. И еще из записок Ахматовой. «Надвигался кубизм. Первые самолеты неуверенно кружились возле Эйфелевой башни. Где – то вдали притворялось зарей зарево так называемой Первой мировой войны. <... > На высоких беззвучных лапах разведчика, пряча за спину еще не изобретенную смертоносную ракету, к миру подкрадывался XX век».

Вернувшись в Россию, Ахматова решила, что уже никогда не услышит о Модильяни, хотя всегда допытывалась о нем у приезжавших из – за границы. Никто не слышал такого имени. Однако много лет спустя, в начале эпохи НЭПа, когда ненадолго возобновились связи с заграницей, Ахматовой попался в руки французский журнал, посвященный искусству. «Я открыла – фотография Модильяни... Крестик... Большая статья типа некролога; из нее я узнала, что он – великий художник XX века».

В 1912 году Ахматова путешествовала с Гумилевым по северной Италии, была в Генуе, Флоренции, Болонье, Падуе и Венеции, где пришла в восторг от итальянской живописи и архитектуры. Скажет: «было как сон, который помнишь всю жизнь».

Между заграничными поездками осуществилось первое

возвращение Ахматовой в Царское Село, поскольку ее приезд туда в юном возрасте трудно назвать возвращением, разве что в метафизическом смысле, а нынешнее возвращение было уже вполне сознательным и к тому же описано стихами. Она сознавала, кем она возвращается, и в какой город. Писала: «На север я вернулась в июне 1910 года. Но куда за пять лет провалилась моя царкосельская жизнь? Не застала там я ни одной моей соученицы по гимназии и не переступила порог ни одного царкосельского дома. Началась новая петербургская жизнь. В сентябре Н. С. Гумилев уехал в Африку. В зиму 1910/1911 годов я написала стихи, которые составили книгу "Вечер"».

В Царском Селе у Анны и Николая Гумилевых был дом. Этот дом Ахматова любила, и воспоминание о нем часто возвращалось в ее стихи. Дом находился на улице Малой, 63. Снаружи он выглядел так, как большинство домов в Царском Селе: двухэтажный, местами с отваливающейся штукатуркой, оплетенный хмелем. Однако внутри – просторный, светлый, теплый. Старый паркет немного скрипел, а из широких окон столовой были видны розовые кусты азалии. В нем имелась библиотека с остекленными шкафами, множество книг, уютные комнаты с мягкими кушетками и подушками, лампы, безделушки. Это было первое и единственное жилище Ахматовой, где внутреннее убранство не носило характерных для нее черт аскетизма. Она ведь была молодой женой относительно богатого человека в предреволюцион-

ные годы. Как вспоминал бывавший у Гумилевых в Царском Селе поэт Георгий Иванов, в этом доме пахло книгами, старыми стенами и духами. В клетке покрикивал розовый попугай. Это был период буйного развития общественной и литературной жизни, новых друзей и новых восторгов. Время делилось между Царским Селом и предреволюционным Петербургом.

Кипарисовая шкатулка

*Что почести, что юность, что свобода
Пред милой гостьей с дудочкой в руке?*

Анна Ахматова «МУЗА»

Когда зимой 1913 года поэты Николай Гумилев и Сергей Городецкий выступили в первом номере журнала «Аполлон» с новой поэтической программой, названной ими акмеизмом, зафиксировав, таким образом, распад русского символизма, Анна Ахматова уже издала свой дебютный томик «Вечер» (он вышел весной 1912 года). Стихи, собранные в этом томике, были написаны раньше, на переломе 1910 – 1911 годов. Николай Гумилев знал их еще в рукописи, то есть за добрые пару лет до того, как выступил с теоретической программой акмеизма на страницах «Аполлона». Ему были известны также читавшиеся на поэтических вечерах или просто в кругу близких друзей стихи Мандельштама и Пастернака. Он был прекрасным теоретиком поэзии: интеллигентным, наблюдательным, критичным и одаренным большой интуицией. Так что, пожалуй, есть немало правды в спонтанном восклицании Ахматовой: «весь акмеизм рос от его наблюдений над моими стихами тех лет, так же как над стихами Мандельштама». В этом есть доля истины. Снача-

ла имеешь дело с произведением, и только потом оно об-
растает теоретическими программами. Конечно, можно по-
смотреть на это и по –другому, поскольку кристаллизован-
ная и обнародованная теория искусства может немедленно
найти своих сторонников и последователей. Все смешивает-
ся, и уже невозможно понять, что было вначале, а что потом.
Но в данном случае мы знаем наверняка, как обстояло дело:
«Вначале Николай Степанович не переносил моих стихов.
Он выслушивал их внимательно, поскольку они были мои,
но очень критиковал, советуя, чтобы я занялась чем – нибудь
другим. И он был прав – я писала тогда действительно ужас-
ные стихи. Вроде тех, которые печатались в маленьких жур-
нальчиках, заполняя пустые места... А потом случилось так,
что в апреле мы поженились (до этого мы с ним долго были
обрученными). В сентябре он уехал в Африку и пробыл там
пару месяцев. А я в это время много писала и переживала
свою первую поэтическую славу, все вокруг хвалили меня
– Кузмин, Сологуб, хвалили также у Вячеслава (Иванова –
прим. авт.). У Вячеслава не любили Колю и говорили, к при-
меру, так: "Ну, конечно, он не понимает Ваших стихов". Ко-
гда Коля вернулся, я ничего ему не сказала. Потом он спро-
сил: "Писала стихи?" "Писала". И прочитала ему. Это были
стихи из позднейшего "Вечера". Он даже вскрикнул. С той
поры всегда очень любил мои стихи».

Но еще раньше, в майском номере «Аполлона» за 1909
год, Николай Гумилев опубликовал рецензию на книгу Ин-

нокентия Анненского «Кипарисовая шкатулка», изданную сразу же после смерти поэта. «"Кипарисовая шкатулка", – писал Гумилев, – это катехизис современного чувствования».

Иннокентий Анненский, считавшийся предтечей акмеизма, издал при жизни только один свой томик стихов, «Тихие песни», в 1904 году. Даже не подписал его своим именем, а издал под псевдонимом «Ник – то». Впрочем, поэтической деятельности он придавал гораздо меньшее значение, чем иным своим занятиям. Он был прекрасным переводчиком французских символистов и модернистов: Бодлера, Верлена, Рембо, Малларме. А также – Горация. В 1896 году Анненский стал директором мужской гимназии в Царском Селе и оставался им с небольшим перерывом до самой смерти. На последнем году жизни он, помимо гимназии, преподавал литературу на Высших женских курсах Раева, где училась также и Ахматова.

«Кипарисовая шкатулка» была опубликована сыном Анненского сразу после неожиданной смерти отца. Гумилев знал Анненского, ценил его и дружил с ним. Еще перед выходом книги он показал ее корректуру Ахматовой. «Когда мне показали корректуру "Кипарисового ларца" Иннокентия Анненского, я была поражена и читала ее, забыв все на свете. Вот сейчас Вы увидите, какой это поэт... Какой огромный. Удивительно, ведь все поэты из него вышли: и Осип, и Пастернак, и я, и даже Маяковский», – скажет она в 1940

году, то есть уже уже спустя много времени. Но уже во время чтения корректуры «Кипарисовой шкатулки», еще до написания стихов, которые вошли позднее в сборник «Вечер» и принесли ей первую славу, это чтение было для нее чем – то вроде поэтического миропомазания. Не Пушкин, не Некрасов, не Баратынский и не Тютчев, а именно Анненский задал тот тон, из которого позднее возникли все ее стихи. Наверное, у каждого поэта бывает в жизни момент такого озарения.

Когда я читаю стихи Анненского, мне кажется, что они могли бы быть неизвестными произведениями Ахматовой. Именно Анненский произвел на нее наиболее сильное впечатление и оставил в ней наиболее глубокий след. Действительно, по стихам Анненского можно было бы изучать акмеизм, хотя о его будущем существовании сам автор не имел понятия. В его стихах есть все черты акмеизма: и резкий переход от символов к конкретным значениям, и некогда запрещенные в высокой поэзии варваризмы, есть и свеча, и электрическая лампочка, и железная дорога. «Свеча», традиционно поэтическое слово, легко обрastaющее символическими значениями, звучит как – то совершенно по – новому, когда рядом горит лампа, а какой – то дорогой человек уезжает, как же современно, на поезде. Потому что для людей на грани XIX и XX веков электричество и железная дорога были чудесными завоеваниями технического гения человека.

Для нас все эти лампы с зелеными абажурами и рассеянным светом в стихах акмеистов, и их поезда, уезжающие в неизвестность, – это уже эстетика, не имеющая ничего общего с прозой жизни, опознавательный знак тогдашней поэтики. Для детей виртуальной действительности, живущих в мире Интернета, и лампа, и поезд содержат прекрасное, грустное очарование прошлого. И если мы помещаем в стихах эти реквизиты, то не для того, чтобы раздражать читателя прозаизмами, а для того, чтобы заглянуть в прошлое, возможно, вплоть до мира Анны Карениной.

31 мая 1909 года Иннокентий Анненский опубликовал стихотворение, названное им «Баллада», и посвятил его Гумилеву. Оно звучит совершенно так же, как стихи поздней Ахматовой:

День был ранний и молочно парный,
Скоро в путь, поклажу прикрутили...
На шоссе перед запряжкой парной
Фонари, мигая, закоптили...

И еще строфа из стихотворения Анненского «Свечку внесли»:

Не мерещится ль вам иногда,
Когда сумерки ходят по дому,
Тут же возле – иная среда,
Где живем мы совсем по – другому?

И для сравнения фрагмент стихотворения Ахматовой «Песня последней встречи», который даже для неопытного уха прозвучит подобно эху:

...Это песня последней встречи.
Я взглянула на темный дом.
Только в спальне горели свечи
Равнодушно – желтым огнем.

Как обычно бывает, ученица пошла дальше, ее поэзия обросла лишь ей известными мотивами, стала единственной и особенной. Однако нельзя не признать, что Ахматова была одной из создательниц акмеизма, и эту акмеистическую нотку почерпнула из стихов Анненского. Пастернак написал стихотворение, посвященное Ахматовой, в котором прозвучали важные слова о ее поэзии: «(...) Но, исходяв от ваших первых книг, / Где крепи прозы пристальной крупицы (...)». Такова первая различимая черта поэзии Ахматовой: лирическая эмоция соединена у нее с холодным повествованием, стих написан так, словно это обычная история, которая как раз сейчас происходит. И еще один характерный для Ахматовой прием, позаимствованный у Анненского: первая часть строфы содержит отдельное утверждение, сентенцию или афоризм, а вторая добавляет конкретную прозаическую подробность.

Когда читаешь стихи Ахматовой, то создается впечатле-

ние, будто перед тобой разворачивается некий фабульный отрывок, и едва ли можно будет избавиться от искушения попытаться восстановить по стихам биографию автора, хотя бы только эмоциональную. Вся ее поэзия содержит в себе динамику лирического повествования. По ней мы можем воссоздать внешний вид героини, ее одежду, жесты, походку, догадаться о ее прошлом, о ее домах, комнатах, любимых местах: Царское Село, Петербург, юг России...

Ахматова не говорит непосредственно об эмоциях, а передает их нам, как это делается в прозе, через конкретное описание жеста либо движения. То, что у Анненского только обозначено, у Ахматовой становится постоянным. Отсутствие связи между различными состояниями души у нее становится иногда попросту мучительным – но одновременно и волнующим. Доброта рядом с гневом, смирение рядом со страстью, нежность, внезапно превращающаяся в неудержимую ревность.

Говорят, что последователей Ахматовой можно различить не по словам, а по особенностям стихосложения. Это правда, но правда, также извлеченная из магической Кипарисовой шкатулки. Строфа из четырех строк, быстрая смена фраз, так называемое короткое дыхание стиха; точки, разбивающие строку, которые нарушают ее ритмический и интонационный характер; внезапные скачки; союз «а» в начале первой или предпоследней строки, где обычно концентрируется содержание произведения – все это приводит к тому, что язык

Ахматовой просто содрогается от напряжения.

Что же еще достала Ахматова из «Кипарисовой шкатулки?» Как раз ту особенность стихосложения, которая характерна также и для современной поэзии: ослабление роли глаголов в пользу действительного причастия, или, как в некоторых ее стихотворениях, их полное отсутствие, мотивируемое сжатостью высказывания или специфической интонацией. Все акмеисты писали примерно так: «В небе осень треугольником; Вечерние часы над столом, безнадежно белая страница». Не какое – нибудь: «В небе осень треугольником (повисла)» или же «(проходят) вечерние часы над столом». Говорится быстро и простыми назывными предложениями, не переводя дыхания.

Из «Кипарисовой шкатулки» был извлечен еще один прием, известный сегодня всем поэтам мира: обычные слова благодаря артикуляции и сопоставлению с другими словами приобретают вес, не связанный с их основным значением. Становятся словами магическими. Из всего этого возник акмеизм. Когда Мандельштама после лекции, прочитанной в Воронеже, спросили, что же такое, собственно, акмеизм, тот ответил, что это тоска по мировой культуре. Можно и так сказать, если принять во внимание, что Гумилев взял название для нового поэтического направления из греческого языка: слово «акме» означает «вершина».

Можно также для порядка напомнить, что акмеисты, вышедшие из основанного в 1912 году Николаем Гумилевым

и Сергеем Городецким «Цеха поэтов», восстановили независимость поэтического языка, отбросив в нем мистические наслоения, вернули слову чистоту и ясность, символ заменили конкретным значением, уместили в поэзии все, из чего складывается не только *sacrum*, но и *profanum* мира, показали его изнутри, сохраняя при этом его непроницаемую тайну. Ходасевич, Кузмин, Городецкий, Гумилев, Мандельштам... Однако вначале было восхищение Ахматовой, склонившейся над «Кипарисовой шкатулкой», и памятная фраза Гумилева, который спустя полгода после смерти Анненского написал: «И теперь уже пришло время сказать, что не только Россия, но и вся Европа потеряла одного из самых замечательных поэтов».

Ритмы и звуки

*Но не пытайся для себя хранить
Тебе дарованное небесами:
Осуждены – и это знаем сами —
Мы расточать, а не копить.*

Анна Ахматова

Гумилев ввел свою жену в литературные круги Петербурга 13 июня 1910 года, сразу после возвращения из свадебного путешествия. В жаркое воскресенье состоялся публичный дебют Ахматовой в знаменитом литературном салоне Вячеслава Иванова в его «Башне». Как писал Бердяев, у Иванова – поэта, драматурга, мистика и философа, встречались очень разные люди: профессора и анархисты, православные и атеисты, декаденты и поэты. Секретарша Вячеслава Иванова в частном письме несколько язвительно отметила первый визит Ахматовой: «В воскресенье; вечером был Гумилев с гумильвицей (...), которые на днях вернулись из Парижа. Она пишет стихи под Гумилева, конечно, а старается написать под Кузмина. В общем терпимо – симпатичная, только очень худая и болезненная (...) но недурна собой, высокая брюнетка. Вячеслав сурово выслушал ее стихи, некоторые похвалил, другие обошел молчанием, одно раскритиковал; она очень нервничала». Годы спустя Ахматова представила свою

версию: ««А в самом деле было так: Н. С. Гумилев после нашего возвращения из Парижа (летом 1910 года) повез меня к Вяч. Иванову. Он действительно спросил меня, не пишу ли я стихи (мы были в комнате втроем), и я прочла: «И когда друг друга проклинали...» (1909. Киевская тетрадь) и еще что – то (кажется, «Пришли и сказали...»), и Вяч<еслав> очень равнодушно и насмешливо произнес: «Какой густой романтизм!»».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.